



Н.С. ЛЕСКОВ

Николай Семёнович Лесков

**Леон дворецкий сын**  
(Рассказы)

**Николай Лесков  
Леон дворецкий сын  
(Застольный хищник)  
Из народных легенд нового  
сложения**

В нынешнем году мною записана для И. С. Аксакова народная легенда «о косом левше» – простолюдине, в рассказе о котором выводится лицо государя Николая Павловича и многих важных людей его времени. Теперь я предлагаю вниманию читателей еще более новую легенду того же творчества, в которой слагатели выражают свои представления о хищниках, упоминая притом о государе Александре Александровиче как об искоренителе хищничества.

По моему мнению, это интересно во многих отношениях, и главнейше вот в каких: 1) возникновение новых легендарных сказаний свидетельствует о жизненности непосредственного, народного творчества и 2) оно обнаруживает замечательную оригинальность и проницательность народного ума и чуткость чувства, которые в их счастливом соединении дают простым людям возможность верно характеризовать данное время и по своему иллюстрировать его особенности.

Последнее приносит тем бóльшую заслугу народной смысленности, что подобные сказания касаются таких лиц, условия жизни кото-

рых слагателям легенды незнакомы и самое представление о них в народе исполнено младенческой наивности. Отсюда самая фабула легенд полна нестаточности и противоречий, а язык испещрен прихотливыми наносами дурно употребляемых слов самой разнообразной среды.

Последнее происходит, конечно, от слишком сильного старания слагателей попасть в разговорный тон того общественного слоя, из которого они берут выводимых ими лиц. Не имея возможности усвоить настоящий склад разговорного языка этих людей, они думают достичь наибольшей живообразности в пересказе, влагая в уста этих лиц слова как можно пестрее и вычурнее, чтобы не было похоже на простую речь.

Это составляет типическую черту *устной народной литературы*, представляющей лиц отдаленного от народной среды быта, и с этим читатель неминуемо должен встретиться и помириться в предлагаемой его вниманию легенде о Леоне дворецком сыне – застольном хищнике.

Но прежде чем мы увидим баснословного

Леона и узнаем, какими хищениями он прославился и на чем был пойман, – остановимся на минуту на теплом, анекдотическом повествовании, сложенном о нашем нынешнем государе, которого народ с первых дней его воцарения наименовал «хозяйственным».

Здесь еще два слова в сторону о царях и о народе.

Со времени Петра Первого до Александра II простой народ, конечно, имел очень слабые представления о *личном* характере царствовавших государей. Верные русские люди верно повиновались и служили всем своим государям, но почти не имели о них личных представлений. Царь и царица составляли для простолюдина понятие более общегосударственное, чем личное. Об одном Петре говорили, что был «воитель», а потом всех «почитали за одну статью» и лишь только в одной Малороссии опять *лично* отмечали «Катерину Крипачиху», то есть *закрепостительницу*. Симпатические черты Александра I, давшие обильный материал для исторических анекдотов, интересовавших людей образованных, простому народу остались «невнятными».

Добродушие и мягкая деликатность чувств этого образованного монарха пленяли «благородных», но «чернородье» осталось вне круга этих вращений, и для него признавать новым царем Константина, а потом через несколько дней Николая Павловича было все равно. Усопший император Александр Николаевич великим актом освобождения крепостных людей вызвал к себе в народе непосредственные, *личные* чувства: простой народ стал его *лично* знать и представлять его себе с личными чертами его собственного характера. Словом: народ полюбил его *лично* за его *личное* великодушное дело.

Ошибаюсь я или нет, но, насколько мне дано чувствовать и понимать биение народной жизни, по-моему, с этого великого события начинается исторический поворот в отношениях русского «всенародства» к своим государям. С уничтожением крепостной неволи «всенародство» быстро начало свое возрастание в свободе разума и с этой поры, вероятно, всегда уже будет обнаруживать *личное* отношение к царствующей особе. Когда такие личные отношения стали сильнее, в простом

народе стало проявляться сильное желание знать все, что возможно, о государе и его наследнике, который по естественному ходу вещей должен был в свое время занять престол отца. Про нынешнего нашего государя простолюдины старались узнать все, что можно, и что им удавалось узнать бог весть с чьего пересказа – все им очень нравилось. Но как узнать все, что хочется, нелегко и даже невозможно, то народ обратился к своему старинному средству: по каким-то мимолетным и неясным отзвукам, может быть, совсем непонятных ему речей он пошел *слагать* целые истории в своем вкусе и между прочим широко разнес по лицу русской земли следующий наивный анекдот. Всякий сейчас увидит, что для этого анекдота всеконечно нет никакого подтверждения в действительности, но в общем здесь что-то угадано, и притом едва ли не самое дорогое, – это именно народолюбивое настроение императора.

Наступающая легенда слышана мною на палубе парохода, шедшего из Рыбинска в Череповец. Рассказчик, торговый крестьянин, часто бывал в Петербурге и знал здесь многих



людей, которые, по его словам, «имели обширные знакомства в публике и могли знать при дворе разные абсолютные обстоятельства».

Вот его рассказ, которому еще предшествует введение, служащее конечно вымысленною, но чрезвычайно теплою характеристикою нынешнего нашего государя.

Император Александр Николаевич освободил мужиков наперекор всем – своею силою. Много ему мешали, говорили и так и этак, но он молился со слезами преподобному Сергию Радонежскому, что «как ты, – говорит, – помог великому князю Дмитрию на татар, так и мне помоги», и бог ему помог все сделать. Так он и сыновей вел правильно, чтобы если какие слова против простых людей услышат, тем бы никогда не верили и знали бы, как делом править. Николаю Александровичу он назначил науки по законам и по иноземным делам, а Александру Александровичу – все служебные распорядки и народную часть, и из них каждый к своему прилежал, на что родителем показано. Николаю Александровичу легче доставалось, потому что вся его часть

была в книгах прописана, а Александру Александровичу досталось труднее, потому что про все просто житейское, о чем ему от отца узнать велено, – в книгах от давнего времени цензур скрадывает; люди же, которые высокого воспитания, одной правды сами не знают, а про другую не сказывают. О чем он их ни спросит, «почему это у нас делается так, а не этак?» – они ему отвечают: «это так надобно», а если он опять спросит: «почему же так надобно?» – они говорят: «так лучше всего». Проезжал он, например, раз по Невскому и видит, что рабочие мужики, которые мостовую перемащивают, легли отдыхать, а головы свои на гладырь-камень положили. Александр Александрович и спрашивает: «Неужели это им этак спокойно?» А те говорят: «Это им, ваше высочество, за привычку очень прекрасно».

Видит Александр Александрович, что очень трудно ему так настоящий народный материк понять, и перестал спрашивать, а только с этого раза уразумел, как его родителю хитро было одному сделать народу освобождение, и, подойдя к государю, со слезами

облобызал его руку и сказал все, что чувствует.

Государь Александр Николаевич выслушал, и у него на глазах слеза блистанула.

– Правда твоя, – отвечал, – не легко мне было, но за то благодарен богу, что сделалось; а ты за твои чувства проси у меня какое хочешь себе по летам утешение.

Александр Александрович опять у родителя другую руку поцеловал и так ответил:

– Мне теперь при моем довольстве, ничего не надобно, а пусть вперед зачтется.

Государь согласился и сказал: «Когда захочешь, тогда и проси, я не позабуду».

После того прошло немало дней, а тем временем другой маленький случай вышел: едет раз Александр Александрович из Царского Села кататься с провожающим в открытой коляске, а кататься он обожал не по битым аллеям, где господа бзырят, а больше по простым путям, где вокруг поля и леса видны и замечать можно, как вокруг сельские люди труждаются.

День был холодный и сиверкий, и после большого дождя обширные лужи стояли, и

видит великий князь, что по тем лужам небольшие сельские робяточки ходят босыми ножонками в мокрых свитинках, и руки у них от холоду синие, и всё они ими что-то ловят да за плечи в дырявые мешки опускают.

Он и спросил провожающего: «Что это такое те малые ребятенки делают?»

Тот отвечает: «В прогулку играют». А Александр Александрович давно такой приказ дал, чтобы ему, когда он едет, всегда в боковом кармане в коляске дальновидный венюкль полагался. Он этот венюкль вынул, навел стекло и видит, что крестьянские дети прутики на топливо собирают, и у него на очах слеза намутила.

Провожающий говорит ему: «Из-за чего это вы, ваше высочество? Им это проминаж в удовольствие». А Александр Александрович кротко молвил: «Я это просто от ветра», – и велел кучеру ко двору ехать. Очень он хотел расспросить: отчего это так, что вокруг такие леса, а они с толикой нуждой прутики собирают, но не стал ничего говорить, а приехал домой и все скучный был, но решил себе, что «я, говорит, про этот проминаж сам собою

доведаюсь», и как при дворе обеденный стол отошел, он и просит государя его с собою вечером кататься взять.

– Я, – говорит, – нынче дорогой вам мою просьбу скажу, которая мне зачтена.

Государь согласился, и они поехали.

Как они выехали в парк, государь спросил:

– В чем просьба?

А Александр Александрович отвечает:

– Это еще не здесь можно сказать, а велите сделать большой кривопуток, в самое отдаленное место отъехать, где бы нас ниоткуда видеть нельзя было.

Пустили кривопутком в такое самое отдаленное место, где уж никаких ни бюстров, ни фимер не стоит, а только высокие деревья, от коих в небо дыра, а на земле лужина.

Тут Александр Александрович и сказал:

– Просьба моя, – говорит, – в том, что дозвольте мне по луже босиком походить.

Государь удивился:

– Отчего это, – говорит, – такая фантазия?

А Александр Александрович отвечает:

– После я все доложу, а теперь прошу дозволения, как обещано.

Государь свое слово сдержал и позволил, а после, когда назад возвращались, Александр Александрович ему открылся.

– Я, – говорит, – детское положение в крестьянстве знать желал, потому что мне все неверно сказывают.

Государь его похвалил и, за ручку взявши, у себя ее под шинелью к сердцу прижал.

– Это, – изволил сказать, – хорошо, всеми мерами грунту доходи, только об этом разе матери не сказывай, а то она опасаться будет, чтобы не простудился, а своему дядьке вели, чтобы завтра утром мне о твоём благополучном здоровье ранний бюкжет подал.

Ушли годы и резко изменили обстоятельства. Александр Александрович сделался наследником престола и «стал своим домом хозяйствовать».

Тут и появляется в туманных грезах народной фантазии какой-то «Леон дворецкий сын» – придворное лицо, которого значение и роль в действительности ни к чему приноровить невозможно, а между тем в развитии касающейся его фабулы есть проникновенная попытка создать довольно цельный тип.

Засим наступает повествование о Леоне.

Леон во всех хозяйских делах провор и успех делал. Старше его находился лейб-мейстер, но во всяком хозяйственном распоряжении Леон больше этого заведовал, потому что лейб-мейстер был из больших господ и никакого дела не понимал; обо всем он должен был спрашивать, а не знал, у кого о чем спросить надобно. Леон же был многоопытный, настоящего, коренного, придворного семени и как родом своим, так и проворством во всех местах славился. Отец его был большой дворецкий, и отцов отец точно то же, и так они далеко шли всё по одной линии, а к тому же Леон еще больше был через жену усилен и через нее место получил. Леонова жена родом выходила еще именитее мужа, потому что ее отец был реткнехт, а мать придворная корцысканка, но, еще того важнее, у нее была дамского совета крестная хап-фрау. Когда вышла одна бриллиантовая история, корцысканка с места своего сбежала, а дочь оставила крестной, и та ее воспитала в своих понятиях и потом через одну лейб-мейстерову куколку так приступила, чтобы корцысканкину дочь за

Леона замуж выдать и место ему по закупной части дать... Лейб-мейстер своей куколке ни в чем отказать не мог и поставил Леона на это место.

Житье им обоим было чудесное, потому что все им принесено и подано готовое и живут они в тепле и при ярком освещении в больших покоях и никуда ни для какой надобности низачем корцысканкиной дочери не надо на ветер выходить. Тут и баня, тут и аптека, тут же по коридорам и в храм божий пройти помолиться, тут и лекарь и обер-священник, если надо исповедоваться. Родятся дети, и то им не в убыток себе, а даже к прибыли, потому что идет за каждое рождение от казны награда, а потом еще особливо дается на крестины и на определение, а крестить кумовьев искать не надо. Все без труда идут: хотяшь штатского со звездой, хотяшь военного с вексельбантами. Леоном никто не пренебрегал, потому что должность его по мартитантской части была самая для каждого полезная и он всегда мог которого вежливого вспомнить и хорошо принять, а если который к нему неискателен, он мигнет лакею – «обне-



сти его блюдом», – тот сейчас у всех на глазах и обнесет, или кивнет на другой манер, чтобы плеснуть ему вина из бутылки за последний сорт, тот и угостит подматертым хересом или еще хуже, а жаловаться на них не стоит, потому что они без совести закланутся, забожатся и сам же за них виноват выйдешь. Но при всем том благополучии жизнь Леонова одним была пренесчастливая: жена его была с большим буланцем, очень надменное имела о себе мнение и мужа терпеть не любила.

Леон из себя был ни хорош, ни дурен, а средственный, и то к ночи хуже становился, а с утра, как придворным лицерином по положению вытрется, то со всеми в один вид выходил. Однако корцысканкина дочь его находила не во вкусе и говорила, что он ей хуже Квазиморды, которого в театре представляют, и считала так, что через замужество с ним вся ее жизнь погублена, потому что без этого при ее образовании она надеялась кого-нибудь важного лица на бартаж принять и после всю жизнь по-французски разговаривать. «Теперь же, – говорит, – все это пропало, и вы по крайней мере должны для меня страдать и

доставлять мне все благополучия». А иначе грозилась сходить к крестной хап-фрау и пожаловаться, а «тогда, – говорит, – вас для моей красоты сейчас с места сгонят».

Леон видит, что дело плохо, – начал жене потрафлять, но все равно угодить ей никак не мог. Все ей по его наружности не нравилось, и она к нему придиралась за то, в каком виде его бог сотворил: «у вас, – говорит, – нос бугровый». Он рассудительно ответит: «это от бога», а она, как змея: «нет, – говорит, – это от вина, вы много казенного вина пьете, а вы лучше его прячьте да продавайте». Он хочет ей понравиться, намажет нос губной помадой, а она говорит: «так еще хуже. Вы бы лучше не на помаду тратили, а зрительную ложу мне в театр взяли». Он ее в театр свозил, а она вместо того, чтобы мирсъти сказать, еще более обиделась, говорит: «Я простых представлений без пения не люблю, мне надо в оперу». Леон повез ее в самую лучшую оперу «Жизнь за царя»: «Слушай, – говорит, – сколько хочешь». Здесь уже, разумеется, все вполне хорошо: актриса мальчиком переделась и поет: «Медный конь в поле пал, я пешком убе-

жал», а после Петров делает страшное гудение, но ей и это не нравится: «Медный конь это, – говорит, – одно воображение – его не видно, а у Петрова очень рот большой».

Леон отвечает: «Что тебе в том, если у него рот велик? Нет в том ничего удивительного – потому что он пятьдесят лет поет. Попой ты столько, и у тебя рот растянется», но она ни одного умного рассуждения знать не желает, а требует уже лучше смотреть итальянских Губинотов. Леон говорит: «К чему же нам итальянское, когда мы их языка не понимаем», а она отвечает: «Совсем напротив, – я очень чужие языки люблю и даже сама по-французски могу говорить». Но как ей у себя по-французски не с кем было разговаривать, так она начала только всем назло простые русские слова в нос пускать: простую лепешку «*ланпешкой*» назовет, конфетки по ее «*ванпасье*», и ела бы она все не русскую морковь с свекловьей, а «*ванфли*» да супы с дьябками. Словом – ума с нею Леон не подберет, как с ней обходиться, а если Леон ей в чем-нибудь чуть сопротивится, она его сейчас вон из комнаты, а сама тюп на ключ. Он говорит: «Разве так

можно против закона и религии», а она отвечает из-за двери: «Я все презираю», и сама одна в двухспальную постель уляжется, а его оставит на всю ночь в беспокойной ажидации.

Жизнь Леонова через эти неприятности столь стала отяготительная, что он даже к священнику прибегал – рассказал ему, как духовному отцу, всю подноготную и просит: «Нельзя ли, ваше обер-преподобие, дать ей от священного сана назидацию на лучшую жизнь».

Батюшка не очень охотно, но согласился.

– Я, – говорит, – могу попробовать, но прямо об этом говорить не могу, а если она придет к ковсеношне или к кабедни, – я ей дам просвиру и потихоньку самую легкую шпичку ей пущу.

И один раз пустил, да только такую легкую, что она просвиру с чаем выпила, а шпичку и не заметила.

Леон ее стал посылать в другой раз ко всеобщей, а она говорит:

– К ковсеношне мне нельзя – я с французским кандитером поеду в итальянский театр

смотреть, как будут петь «Бендзорские девушки».

– Ну так еще раз сходим завтра к кабедне.

– И к кабедне, – говорит, – я не могу; потому что мне надо одеваться в концерт дешевых студентов.

Горе взяло Леона ужасное, что батюшка один случай пропустил, а другого нельзя устроить, он и сказал жене:

– Что же хорошего в дешевых студентах?

А она отвечает: «Я очень люблю, как они поют разбойницкую песню „Бульдыгомусигитур“, а главное мое в том удовольствие, что вы за мною туда не последуете!»

Так уже без всякой церемонии его отбивать стала, и Леон уж ее и перестал спрашивать: куда идет и откуда ворочается, потому что ему без нее в домашнем житье хотя малый отдых был. Но она, как настоящая корцысканская дочь, на том не перестала, а начала к себе без спросу гостей приглашать: от дешевых студентов прямо привезла к себе одного поляцкого шляхтица, который в гласном суде служит.

– Вот этот господин, – говорит, – если вы

под суд попадете, вас оправить может.

Леон это как услышал, так даже за волосы взялся и говорит: «Не хочу я его оправдания, и в нашем сословии мы закону не подвержены, а или вы с ним убирайтесь, или я уйду, и тогда вас выгонят», но она отвечает по-французски:

– Это очень глупо, нам всем антруи будет хорошо.

Леон пригрозил: «А если, – говорит, – и я таким же манером из себя выйду и себе постороннюю приязнь заведу? хорошо ли это будет?»

А корцысканкина дочь смотрит на шляхтица и уже по-польски отвечает: «Пршелесно!» Такая была переимчивая!

Леон опять к священнику, просит: «Ваше обер-преподобие, нельзя ли еще одну шпичечку!»

Тот отвечает:

– Хорошо, попробую.

И точно, когда раз Леонова жена разоделась и пришла под крещенье к ковсеношне святую воду слушать, он ее после службы за руку взял и ласково сказал:

– Нехорошо.

Она спрашивает: «Насчет чего?»

– Насчет тайны супружества.

А она глазом не моргнула, а ответила: «Я, ваше обер-преподобие, никогда никаких слов на свой счет не беру», – и после того мужу еще хуже объяснилась.

– Вы, – говорит, – очень глупы, что просили духовное лицо мне пропуганду сделать, у меня характер еройский, и я ничего не боюсь, и закон и религия – мне все равно что глас вопивающий.

Леон отвечает, что он не мог перед священником скрыть, потому что «я, – говорит, – пасомый, а он пасец».

– А я, – отвечает жена, – ему такую брыкаду у всех на глазах устрою, что к нему больше никогда не пойду, а буду ходить ко всем слепым и, еще лучше, там в первых рядах стану. А вам так отплачу, что завтра же ваше двуспальное кольцо у Скорбящей в нищую кружку брошу, чтоб вы совсем знали и мне больше и мужем называться не смели.

Леон ее взял за руку, а на ней двуспального кольца уже и нет.

Она говорит: «Я его еще вчера сбросила, потому что я теперь знакома с мамзель Комильфо и через одно ее слово лейб-мейстеру я тебе рад и ай сделаю. Смирись, – говорит, – и покоряйся, потому что у меня характер еройский, а между тем я тебя хорошему делу выучу, через которое мы ссориться перестанем, а будем жить в лучшем счастье». И начинает ему выкладывать, что «я, – говорит, – по моему характеру, в такой ничтожной простоте жить не могу, и ты меня законом и религией ни к чему не подведешь, на этот счет я сама и начатки и кончатки учила, и все оставила, а как у меня через все волнения и ударения к чувствам, которые через твою низость вышли, детское молоко бросается, то я должна на Кавказ ехать мангральный Дарзанс пить, и мне нужно много денег, которые ты получить можешь».

Леон спрашивает: из каких богатств?

– Явись, – говорит, – сегодня вечером к моей крестной хап-фрау – все узнаешь.

Леон хап-фрау не мог послушаться, потому что эта если зовет, то непременно за делом и может быть человеку в пользу, а если против



нее хоть одну каплю поступить, – у нее нет прощадь: она сейчас через какого-нибудь интригантуса страшный вред сделает. Через это опасение к ней все и ездили и всё по ее модели делали и удивлялись, как она мало получает, а в полной достаче живет. Даже и самым важным лицам у нее нравилось между собою встречаться и обо всех больших делах разговаривать, о которых никому знать было не нужно.

Леон дождался времени, когда ему свободно стало свой треугольный цилиндр скинуть, надел поскорей простой плоский циммерман, перед лицом дождливый зонтик растопырил, чтобы его узнать нельзя, и вышел. Порядил он извозчика прямо на острова в одностороннюю улицу, где у хап-фрау своя дача была, без всякого по другой стороне противного соседства, так что никому нельзя было видеть, кто к ней ездит и в каком часу.

Попросил Леон о себе доложить и думает: как она его примет и будет разговаривать – вкратце или по вятикету.

Хап-фраупозвала его к себе в кабинет и стала с отдаленности говорить по вятикету,

сначала много пустых, лишних слов спусти-  
ла, а потом показывает ему коробочку с поч-  
товыми марками от старых писем и говорит:

– Обратите внимание, чем я занимаюсь?  
что это?

Леон отвечает: «Марки конвертные».

– А для чего они? Ведь они уже никуда не  
годятся. Это тоже не всякий может понять!

Леон говорит: «Для блезиру».

– Совсем нет, блезир – пустяки; а это для  
того, что кто тридцать тысяч марок соберет и  
в китайское посольство на Сергиевской пред-  
ставит, тому из Китая маленького живого  
невольника с шелковой косой дают. Вы этого  
не знали?

Леон говорит: «Не знал».

Она не похвалила.

– Нехорошо, – говорит, – надо все знать и  
собирать, потому что могут быть разные об-  
стоятельства.

Леону это суждение понравилось, потому  
что хоша он и был против казны душой не  
безгрешен, но для себя был очень рачителен.  
А дама ему и другие большие откровенности  
показала и говорит:

– Моя жизнь, – говорит, – никому непонятная, потому что у меня расходов много, а доходов нет, но между тем, – говорит, – я не бесплодный ангел, мне пить, есть надо и одеваться, а также и лекарь нужен, потому что у меня постоянный бекрень в голове, но я такую экономию соблюдаю, что даже для одной болезни никогда лекаря не зову, а жду, пока еще что-нибудь заболит, и тогда разом гораздо дешевле стоит.

Леон отвечает: «Это вы очень справедливо».

– Да, – говорит, – так только и жить нужно, а другие себе ни в чем отказать не хотят и чуть что-нибудь – сейчас на воды Дарзанс пить или в немецкие леса к баварской юнгфрау травами пользоваться, а это очень начестисто.

Леон думает: «Как превосходно она все говорит! Попрошу-ка я ее, нельзя ли моей жене такую назидацию сделать. Она, если от важного лица – принять может».

Но прежде, чем Леон это сказал, хап-фрау взяла уже в другой род.

– Я, – говорит, – вас позвала к себе не по

своему делу, а чтобы вас забеспечить, как бы через одну неосторожность в государстве каких-нибудь больших пустяков не вышло. Для того объясните мне сейчас: почему вы трехрублевый чай в буфетный счет пишете?

Леон такого сильного вопроса сразу не ожидал и не мог ответить, а хап-фрау ему говорит:

– Вы знаете ли, что передо мною ни у кого никаких тайностей нет, мне надо все говорить, как попу на духу, откровенно, и потому я сейчас знать должна: почему у вас трехрублевый чай стоит?

Леон говорит: «По четыре с полтиной» – и соврал, потому что он много дороже ставил.

Хап-фрауна него посмотрела и говорит: «Я не ожидаю, чтобы это было так дешево».

Леон забожился.

– Ну, хорошо, – говорит дама, – теперь же я вам объясню, для чего мои вопросы. У меня ваш лейб-мейстер был и жаловался, что слышно, будто везде думают экономию загонять, и он тому желает подражать, и спросил меня: почему трехрублевый чай стоит? Я боялась, как бы не сказать меньше, чем у вас ста-

вится, потому что я мою крестницу сожалею и за вами послала.

Леон смекнул, что дело к нему подбирается, и в отчаянности прямо спрашивает:

– Сколько же вы изволили за трехрублевый назначить?

Она говорит: «Я ему только вдвое назначила», значит сказала всего шесть рублей.

Леон говорит:

– Это действительно против нашего на три рубля меньше, потому что у нас с давних времен все втрое считается.

– Ну так это, – говорит, – надо спешить поправить. Поспешайте сейчас к мамзель Комильфо и попросите ее, чтобы, когда он ее спросит, то чтобы она ответила: девять рублей. Он ей больше чем мне поверит, а ей через это самой будет выгодно: она будет больше на себя получать.

Леон говорит: «Я боюсь ей такое предложение сделать, она ему очень близкая».

– Ну так я, для крестницы, сама ей скажу.

Леон поклон хап-фрау чуть не до земли, а через два дня она его опять к себе кличет и говорит: «Бог вам счастье посылает, дело сде-

лано: только мамзель Комильфо, – говорит, – ошиблась и сказала, что трехрублевый чай стоит теперь пятнадцать рублей. Ей, – говорит, – это было нужно на другие расходы прибавить, и как она была для вас полезная, то и вы ее теперь смотрите не сконфузьте и то же самое в своих счетах пятнадцать рублей представьте, а то по затылку и вон».

Леон думает: «Послать-то мне это бог послал, только не была бы очень громка эта музыка...»

Пятнадцать рублей за три показывать Леону поначалу немножко страшновато было, однако, помянув, каких он имеет союзников и что надо друг друга поддерживать, как стал подавать счет, взял да выставил трехрублевый чай по пятнадцати рублей. А лейб-мейстер посмотрел и говорит: «Да, это правильно; я хорошо цены знаю, и сам в этом удостоверился: трехрублевый чай действительно стоит пятнадцать рублей. Зато заваривать, – говорит, – с этих пор для гостей против трех ложечек по две».

Леон пошел к хап-фрау и рассказал, что все исполнил благополучно и никого не выдал.

Та говорит: «Очень хорошо – гостям можно супротив трех и по одной сыпать, и будет им очень хорошо, а нам всем к выгоде; но только теперь представьте мне ведомость, сколько всякого другого продукта через вас требуется, и я определю вам согласное назначение».

Леону это не показалось, и он спросил: «Для какой же это надобности?» Но она пояснила, что так надобно.

– Вы, – говорит, – каким способом все расчисляете?

Он отвечает: «Способ один, выкладываю на счетах и сношу себе, что в отставку».

– Нет, – говорит, – так в свете не годится, это надо двумя способами – плюсовать и минусовать по тройной бухгалтерии, и тогда ничего открыть нельзя. Принеси ко мне реестры, и я вас выучу, а без того вы можете за один чай пропасть без прощады.

Леон волей-неволей представил ей все реестры, а она взяла карандаш в руки и пошла черкать: одной рукой плюсовит, а другой минусит, а потом смешала все по тройной бухгалтерии, так, чтобы никому понять нельзя, и в результате вывела большие тысячи.

– Вот вам, – говорит, – от меня главное положение, спишите здесь же на моем столе с него копию своею рукою и усматривайте полезное, а результате сводить приходите ко мне по бугомерии, чтобы во всех высших областях выходило одно согласие. А притом от всех этих прибавок вы должны не все себе одному брать, а делить опять по бугомерии: одну половину которую-нибудь доставлять мне, а другую остальную половину делить еще пополам: одну четверть вам, а другую куколке Комильфо, и кроме того, чтобы вы из своей части давали по сту рублей в месяц лейб-мстерову камердинеру и буфетчику, и пятьдесят куфельному крестьянину. Иначе для вас от них может вред быть, а мне с ними говорить не пристало.

Леон и глаза выпучил: «Помилуйте, – говорит, – за что же так, мне это обидно: я за все в первом ответе, а часть моя по этим видам будет самая скудная».

А она ему цыц показала в том смысле, что если не нравится, то убирайся вон; он и попросил извинения и повел дело как сказано, в новом порядке. Но как ему мало стало, то он



от себя поправил, начал еще накидывать и научился тоже одною рукою плюсовать, а другою минусить, чтобы и на его долю в отставке что-нибудь оставалось, и уже валяет в отчаянности не втрое или вчетверо, а в двадцать и в тридцать раз. Ужасно подумать, сколько хитить начал, так что даже и сам поначалу робел, но потом видит, что у них кругом это колесо ровно идет, и осмелел. Пошло уже тут такое хищение, что и сказать нельзя, и много лет катило ровно волной во всю реку от одного берега до берега, и истинника уже нигде видно не стало. Но одно Леону было томительно, что не мог он знать с этой поры: кто его набольший: лейб-мейстер или хапффрау, да и дела у него чрез бугометрию стало большая кучка. Много надо было ума, чтобы весь свой департамент в дележке успокоить, чтобы все сыты были и никто не сделал неаккуратности. Это так постоянно Леона скребло и мучило, что он был и невесел и говорил жене:

– Мне теперь, – говорит, – хуже прежнего, потому что я тогда в умеренной прибавке все мог на счетах прокинуть и спокойно пил и ел

и детьми моими вечером на ковре мог, как медведь с медвежатами, утешаться, а теперь я чрез твою крестную постоянно должен только плюсить да минусить и ожидать в томлении, тогда как другим против меня гораздо лучше.

Но жена его, как сказано, была с буланцем и нисколько мужа не жалела, а, напротив, хвалилась, что он должен себе за честь считать быть в большом общем хищении, а «за предбудущее, – говорит, – бояться глупо, потому что я тебя в суде чрез своего знакомого поляцкого шляхтича в чем хочешь оправлю».

Леон услышит таковые ее глупости и только головой покачает и не раз ей доводил, что, дескать, «мне не закон страшен, потому что нашего звания особ по законам судить никто не смеет, а зато нам надо держать себя на-приготове, как бы кого-нибудь не следующего не спросили: почем какой предмет стоит».

Но она, как необстоятельная, так расположилась, что ничего этого быть не может, потому что никогда на это еще ни у кого решения не было, – и при больших доходах она еще больше в себе такого упрямого буланцу

запустила, что даже очень ей потрафлять трудно стало. Все ей не хорошо и со всеми равняться хочет. Всякий раз, как у мамзель Комильфо побывает и какие обстоятельства там увидит, – сейчас точно такие же самые обстоятельства чтобы и у нее дома были. У той ничего простого – и эта тоже требует: меняй да переменяй ей все в ежедневно и не знать для какой надобности. Комнаты, например, которые нонеча только новой бумажкой оклеют, вдруг завтра велит обдирать и на другой манер делать, чтобы не было, например, в один какой цвет, а с разноцветом: например, туник чтобы светлее, а карнолин с потемочкой. Так в этом и настоит, а только что ей этак сделают, у Комильфо, глядишь, уже выкинуто на другую модель, например с мигальёнами, – и она сейчас себе того же самого требует и даже такая аспидская, что ту еще превзойти хочет. Это уже сдирай прочь и карнолин и туник, а делай ей семь спящих дев в мигальёнах. Комильфо себе обнову – и она тоже; та портрет в каждом платье – и эта не отстает, а опять обогнать умеет. Одних портретов своих наснимала во всех видах, что и де-

вать некуда, и обыкновенные, и кабинетные, и как Комильфо сделала спальные безбилые – и она тоже. В том и все время свое разгуливала, что за этим следила, а дела никакого не делала. Леон ей станет сколько раз говорить: «Сколько, – говорит, – мы лет в тайне супружества, и у нас пять сыновей – все мальчики и дочь-девочка – ты бы хотя с ними малость занялась – поучила бы их хоть палочкам, как те ша и ша те выводить».

– Это, – отвечает, – одни глупости: мы в своем порядке подадим просьбу, нам на мальчиков деньги в пансион отпустят, а мы их даром в школу полпрапорцев отдадим, а девочку в училище девиц женского пола.

Мальчиков совсем смотреть не хотела, а девочку хорошо образовала, так что если кто к ним придет и скажет: «сделай никсу», та сейчас ножку под себя подвернет и сниксит. Велят ей заиграть на фортепиано – эта заиграет, или, если, для красоты, мать скажет: «подними левое ухо выше, а правое опусти, или левое опусти, а правое подними», она все это понимает и сделает, а мать утешается и после ее за послушание в гостиный двор и дарит ей

дорогие игрушки, как заводную мышь, которая по столу бегает, или куклу в сто рублей, которая папакает и мамакает.

Так и уходило по пустякам все Леоново богатое хищение, и в отставке у него ничего не оставалось, кроме счастливых билетов, на которые двести тысяч можно выиграть. Все, которые от его похищений рвали, жили в свое удовольствие; особенно хап-фрау. Та, как была всех умнее, то только и знала, что по всем ведомостям за падежом бумаг следила да пупоны стригла и посылала в заграничный банк, потому что не верила своим домашним обстоятельствам. А Леон, будто сердце его что-то чувствовало, ничем не утешался и даже к богу стал в томлении обращаться; ночью вставал и в Маргарите читал тот артикул, где пишется: «О, злого зла злейшее зло жена злая», но сократить свое хищение нимало не мог, потому что компании боялся, и сам себя утомлял в хищении до той усталости, что порою думал: «Господи! уж кажись лучше бы меня кто-нибудь словил; но неужели же только такого человека по всему царству нет?»

И действительно так было, что есть в на-

шей империи всяких разных людей: и жида, и армяне, и немцы, а такого человека, который бы мог Леона дворецкого сына с полицьем поймать, до сей поры не было, потому что никто из высоких особ *простого средства* не знал.

Здесь рассказ снова делает прыжок в сторону: нить развития страстных хищений Леона обрывается, и наступает заключительный эпизод с «простым средством», которое одно и могло быть страшно Леону дворецкому сыну, непрестанному застольному хищнику.

Как стал наследник Александр Александрович сам своим хозяйством жить, он посмотрел раз на все и понял, а ничего не спрашивает.

Леон думает: «Как было, так и будет, и иначе быть нельзя». И по таким мыслям ведет свое хищение по-прежнему, одной рукой плюсит, другой минусит, а что в отставке – делит, а «простого средства» на себя не ожидает. Тут с ним и случилось чего не думано.

Изволил Александр Александрович ехать с супругой из большого дворца к себе домой по Невскому проспекту и видит, на панели му-

жичок-серячок стоит с латком, а на латке у него свежий сотовый мед, и он те соты режет да с прибауткой на лопатку подхватывает: «ах, мол, мед-медочек, посластить живото-чек»; а все чернородье у него сладкий медок в разновес покупает и спешит всяк себе рот посахарить.

Александр Александрович и изволит говорить: «В нашей земле нынче такой праздник, что плоды и мед святят», и с тем как прибыл домой, сейчас повстречал на подъезде Леона и приказал ему подать на блюде хорошего со-ту и десять яблок «добрého крестьянина».

Леон, в руках провор, в ногах поспех, духом вздел свой трехугольный цилиндр, слетел, купил и подает, а Александр Александрович его вдруг к невероятной для всех неожиданности принудил – взял да и спросил:

– Сколько этот мед стоит?

Леон хватом ответил: «Двадцать пять рублей». А Александр Александрович, как народные простые обиходы понимает, сейчас рассудил: может ли это быть, чтобы такие фруктеры, которые простой мужик продает и простой мужик у него покупает, да этакую цену

стоили? И вдруг к страшной для всех неожиданности одно самое *простое средство* изволил сказать:

– Позвать, – говорит, – ко мне мужика с латком!

Как это слово из его уст вышло, все по колено в пол ушли, а Леон на лицо пал и виться стал:

– Не велите, – молит, – звать мужика, я и так всю правду скажу: хитил я тут на этой купле целых двадцать три рубля.

Александр Александрович изволил спросить юстиц-Панина:

– Что в таковых случаях надлежит за хищение по закону и обычаю предков?

Юстиц-Панин отвечал, что законы к Леонову званию издавна не прикладны, а по обычаю предков, в давнее время, при Екатерине Великой, за такие дела давали хищнику для политики похвальный лист и месячину и посылали в Царское Село при ферме на птичный двор белых павлинов стеречь.

Но Александру Александровичу этот Катеринин предлог не понравился, и он изволил сказать:



– При мне пусть будет иначе: не надо мне хищников ни здесь, ни на птичный двор и ни в какое самое последнее место; а отпустить его с семьей в город без похвального листа и без месячины на вольное пропитание.

Вперед же повелел: чтобы во всех местах, где какой хищник окажется, всех равно одним законом судить.

Слово это пронеслось на целую Русь, и было оно за большую радость, потому что хищники опротивели всей земле злее самых злых врагов.

На том сказ и кончается.

*Весна 1881 г.*